

ЦИЦЕРОН И СИЛА УБЕЖДЕНИЯ

Марк Туллий Цицерон – один из наиболее известных политических и культурных деятелей периода Поздней Республики, а посвященная ему литература практически неисчерпаема, однако исследования того или иного аспекта его деятельности продолжают выходить с завидной регулярностью. В последнее время особое внимание уделяется вопросам морали и психологии в творчестве Цицерона. К каким же основным выводам приходят исследователи данного комплекса проблем?

В диссертации И. Хаммара «Создание врагов. Логика аморальности в речах Цицерона»¹ рассматривается вопрос о том, каким образом обвинения в аморальности² соотносились с римской политической культурой (с. 29), а также делается попытка «заглянуть в мир римского сознания или системы ценностей», чтобы разобраться в том, «как общее представление о моральном и аморальном могло проявляться в римской риторике» (с. 27).

Вопросы морали занимали в жизни римского общества центральное место; римляне считали, что являются самым выдающимся народом по «нравственному достоинству» (*virtus* – Plin. NH. VII. 130), и именно этой нравственной доблести они обязаны своими военными успехами. Поэтому для того, чтобы преуспеть в государственных делах, политик должен был не только владеть ораторским искусством, но и иметь репутацию высокоморального человека. В диалоге «О законах» Цицерон пишет, что сенаторы должны служить примером для других сословий (Cic. De leg. III. 30). Это означает, что римская политическая элита являлась таковой вследствие своего морального превосходства, а потому его надо было оберегать внутри самой группы. Одним из способов достичь этого были нападки на аморальность. Предполагалось, что отклонение от поведенческих норм должно было быть выявлено и наказано, и в таких условиях оратор являлся хранителем устоев элиты, а его оружием было красноречие (с. 108–111).

Ораторское искусство призвано убеждать, и Аристотель в «Риторике» перечисляет три способа убеждения. Первый из них, этос, «находится в зависимости от характера самого говорящего»; второй, пафос, – от настроения аудитории, а третий, логос, – от самой речи (Arist. Rhet. I. 2, 4). Самым эффективным из них, по мнению философа, является этос, и римляне вполне разделяли эту точку зрения. Поскольку для политической жизни в Риме были характерны борьба за должности и стремление к *gloria* и *auctoritas*, представители элиты должны были доказать, что их этос достоин уважения. Ведь личность человека неотделима от его деятельности, и поэтому многие политики и адвокаты того времени предпочитали опираться в своих речах главным образом на доказательства, построенные на оценке нравственных качеств как их самих, так и их оппонентов (с. 112–113).

Начиная с третьей главы, Хаммар переходит уже непосредственно к заявленной теме и анализирует, каким образом вышеприведенные правила и нормы находили свое отражение в речах Цицерона, рассматривая их в хронологическом порядке. После предельно краткого сообщения о происхождении и начальном этапе карьеры великого оратора, Хаммар приступает к рассмотрению первого дела, принесшего Цицерону славу и известность. Речь идет о его выступлении в защиту Секста Росция Америкейского. Проблема аморальности занимает центральное место в речи защиты, ведь дурные поступки, по логике оратора, являются следствием дурного характера, а посему такое ужасное преступление, как убийство собственного отца, мог совершить лишь тот, кто глубоко испорчен внутренне. Исходя из этого, Цицерон спрашивает обвинителя, почему тот не упрекает Росция в аморальности. Если причин для этого нет, то тогда невозможно представить себе, чтобы подсудимый мог совершить то, в чем его обвиняют (Cic. Rosc. 38). Кто, в таком случае, это сделал? Всю вину со своего клиента

¹ Hammar 2013.

² Хаммар заявляет, что в латинском языке не существовало специального слова для обозначения аморальности (с. 45), но при этом не объясняет, что подразумевает под аморальностью он сам, и, как уже было отмечено в рецензии (Dyck 2014), по-разному использует это слово в ходе своего исследования. Дик указывает, что на с. 197 (на самом деле на с. 297. – Д. Д.) диссертант делает попытку отождествить понятие аморальности с латинским словом *audacia*, хотя далее, на с. 333, уже пишет, что *audacia* могла быть как источником аморальности, так и ее результатом, что, безусловно, противоречит высказанному выше наблюдению о равнозначности указанных терминов.

Цицерон перекладывает на Хрисогона и доказывает, что тот вследствие своих пороков и страсти к роскоши и есть истинный виновник убийства (Cic. Rosc. 132–135).

Те же самые принципы встречаются и в «Риторике к Гереннию». Порок личности (*vitium animi*) связывается с мотивом преступления – так, например, если преступление было совершено из-за денег, то необходимо показать, что подсудимый всегда был жадным (*semper avarum fuisse*), если из-за почестей, значит, его основным пороком является честолюбие (*ambitio*), etc. Подсудимого нужно обвинить в сколь угодно многих «грехах», совершенных им ранее, тогда слушатели подумают, что если такой нечестивый человек и теперь повел себя не лучшим образом, то это только логично (Rhet. Her. II. 5), и таким образом его вина уже будет практически доказана. Ведь римляне, как пишет Дж. Мэй (а Хаммар с ним соглашается), считали, что характер человека со временем не меняется и именно от него зависят поступки и моральные установки личности (с. 120–126)³.

Идея создания образа аморального человека и общей аргументации *ad hominem* развивается и в последующих речах Цицерона. Со всей яркостью это было продемонстрировано оратором в его речах против Верреса, когда безнравственное поведение подсудимого служило для Цицерона аргументом в пользу его виновности, в то время как формальные уголовные обвинения имели для него второстепенное значение: по мысли Хаммара, Цицерон обвинял Верреса за его поведение в целом, а не в преступлениях, которые являлись следствием этого поведения (Cic. Verr. I. 56). Основным же пороком подсудимого была жадность (*avaritia*), и именно она стала причиной всех его преступлений. Опираясь на рассуждения Саллюстия (Sall. Cat. 10–11), Хаммар отмечает, что изначально этот порок не был свойственен римлянам и проник в их культуру сравнительно поздно. Подсудимый же представлен у Цицерона как тиран эллинистического типа, что ставит его в оппозицию самой идее республики и таким образом отчуждает от сограждан (с. 145–165).

В следующей главе рассматриваются уже речи, произнесенные Цицероном в 66–59 гг. до н. э. Логика аморальности, взятая на вооружение великим оратором, продолжала оправдывать себя и в это время. Так, например, выступая в защиту Клуенция, Цицерон объявил о том, что на самом деле виновен Оппианик, однако не стал приводить никаких формальных доказательств вины последнего, а вместо этого лишь провел параллели между преступлениями и характером последнего. Таким образом, аморальность оказывается не просто весомым, но, можно даже сказать, решающим аргументом во всем деле, а связь между виной и безнравственностью становится очевидной. Можно предположить, что, по логике Цицерона, именно *audacia* была основным пороком Оппианика и, следовательно, она-то и побуждала его совершать различные преступления (с. 172–174).

Еще дальше Цицерон пошел в деле Луция Валерия Флакка. Флакка обвиняли в разорении провинции, и оратор, желая его оправдать, начал доказывать ненадежность свидетелей обвинения. Свидетелями были греки, и Цицерон, не утруждая себя представлением настоящих доказательств, просто заявил, что греки как нация отличаются отсутствием должной добросовестности в свидетельских показаниях, а это значит, что доверять им нельзя (Cic. Flacc. 9–12). Благодаря такой характеристике Цицерону удалось полностью нивелировать показания греков, так что в результате Флакк был оправдан, и это показывает, что в римских судах такой аргумент, как констатация аморальности, мог перевешивать любые формальные доказательства (с. 175–177).

Однако подлинным триумфом Цицерона стали его речи против Катилины, принесшие Марку Туллию славу и титул Отца отечества (заслуженно или нет – вопрос отдельный). На основании анализа текста речей складывается впечатление, что оратор сделал все возможное для того, чтобы изобразить Катилину стоящим вне каких-либо политических или религиозных сообществ. Характер последнего, с точки зрения оратора, представляет собой причудливую смесь из *audacia* и *furor*, из чего следует, что Катилина не только иррационален, но и аморален. В целом *audacia* и *furor* были стандартными обвинениями для Цицерона, но в характеристике, данной им Катилине, он присовокупил к ним также такую черту, как *amentia* (безумие, безрассудство). Таким образом оратор одним махом превратил Катилину в опасного безумца, который одержим безрассудной страстью⁴ и, следовательно, не может себя контролировать (с. 182–187).

³ Май 1988, 26.

⁴ *Cupiditas*. И. Хаммар полагает, что *cupiditas* Катилины была того же свойства, что и у Сассии (Cic. *Cluent.* 12), но это, как правильно отмечает в своей рецензии Дик, неверно. У Катилины *cupiditas* означает его стремление к власти, и именно в этом смысле Цицерон употребил данное слово, когда пытался спровоцировать Луция Сергия на добровольный отъезд из Города: «И вот, ты, наконец, отправишься туда, куда твоя необузданная и бешеная страсть уже давно тебя увлекает» (Cic. *Cat.* I. 25: «*ibis tandem aliquando quo te iam pridem tua ista cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat*»). *Cupiditas* же Сассии, как видно из контекста, была совсем иного рода, а потому проводить между ними параллели представляется не совсем уместным. См. Dyck 2014.

В речах против Катилины Цицерон представляет широкий спектр различных направлений vituperatio. Как он писал позднее, в порицательной речи важно было показать, в каких условиях человек родился, в каких – был воспитан, получил образование etc. (Cic. Part. Or. 82), поскольку то, как человек прожил свою жизнь, могло служить иллюстрацией его нравов. Именно этот прием Цицерон и применил, рассказывая о порочности Катилины. Общей проблемой и Луция Сергия, и людей, с которыми он водил компанию, были долги, которые Цицерон не замедлил связать с аморальностью задолжавших (Cic. Cat. II. 10), а то, что человек растратил все свое состояние и наследство, становится, по Цицерону, признаком аморальной жизни, что, в свою очередь, означает, что такой человек и в будущем способен на любые злодеяния, включая заговор.

Обратное также верно: защищая Луция Лициния Мурену, оратор обратил внимание аудитории на то, что изображать человека аморальным можно лишь в том случае, если это подтверждается наличием и других пороков, а не только того, в котором его обвиняют (Cic. Mur. 13). Если доказать, что человек вел достойную жизнь и ни разу не был замечен в безнравственных действиях, получится, что он – человек порядочный⁵ и неспособный на преступление, которое ставится ему в вину. С точки зрения Хаммара, это была не только риторическая стратегия, но и совершенно приемлемая для римлян форма аргументации (с. 196–199).

Вернувшись из изгнания, куда его отправили за незаконное решение о предании сторонников Луция Сергия казни, Цицерон обратил всю силу своего красноречия против Публия Клодия и консулов 57 г. до н. э. – Авла Габиния и Луция Кальпурния Пизона. В этом противостоянии Цицерон вернулся к своему любимому приему – демонстрации аморальности этих людей, только теперь он еще и высказался по поводу их внешности (Cic. Red. sen. 13; 16) (с. 229–235). Так, например, из сохранившихся фрагментов речи «Против Клодия и Куриона» видно, что оратор насмехается буквально над каждой чертой облика своего противника, уделяя особое внимание одежде (Cic. In Clod. Fr. 2. 1). По мнению Цицерона, ни внешность, ни поведение Клодия в целом не вписываются в рамки нормы, установленной элитой (с. 239–241), и, основываясь на этом наблюдении, Хаммар на с. 243 делает несколько странный вывод, что изысканная одежда является признаком не только бесчестия (flagitium, stuprum), но и принадлежности к популярам. Сделанное Хаммаром заключение представляется весьма смелым, хотя и небесспорным, так как в других речах Цицерона имеются достаточно ясные указания на то, каких именно людей оратор считает *настоящими* популярами⁶ (см., например, Cic. Rab. 15; Cat. IV. 9), и ношение женской одежды в число их признаков явно не входит. Да и в массовом сознании римлян эти две вещи вряд ли были взаимосвязаны. Вот почему, думается, Цицерон скорее просто хотел показать, что своим неподобающим поведением и манерой одеваться Клодий поставил себя вне рамок политической элиты, и ему не место среди тех, кто вершит судьбы государства.

Впрочем, не только экстравагантные вкусы в одежде и чересчур красивая внешность могли принести человеку недобрую славу аморального сластолюбца. Иногда испортить своему обладателю репутацию могло и прямо противоположное качество, а именно – уродство. Именно так произошло с Ватинием. Он был свидетелем в деле против Сестия, которого защищал Цицерон, и так же, как в случае с Флакком, оратор не замедлил унизить свидетеля обвинения. Ватиний действительно выглядел не лучшим образом, и это отмечали даже позднейшие авторы (Sen. Dial. 2. 17. 3; Vell. Pat. II. 69. 3), но Цицерон, как всегда, не постеснялся сказать ему об этом прямо в лицо (Cic. Vat. 9). Причем, по логике оратора, отталкивающая внешность Ватиния служила признаком его аморальности (хотя в деле Клодия все было наоборот), а тот, кто аморален, как уже говорилось выше, был опасен для общества (с. 246–248). По всей видимости, римская публика также полагала, что внешность является выражением характера, но для того, чтобы граждане могли увидеть и распознать аморальность, ее надо было им показать, т.е. обратить их внимание на определенные черты облика человека, которые могли свидетельствовать о тех или иных его наклонностях (с. 251).

При этом Цицерон говорил, что любые обвинения в безнравственности должны быть тщательным образом обоснованы, иначе это будет уже не обвинение, а просто клевета. Если нападки на аморальность не имеют иной цели, кроме как оскорбить человека, то к ним не стоит прислушиваться, а вот если они служат для подкрепления обвинения, то присяжные и судьи обязательно должны принять их к сведению. И, по всей видимости, так и происходило, поскольку в противном случае многие речи Цицерона оказались бы бесполезными – самым ярким примером такого рода может служить его выступление против Верреса. Если бы судьи проигнорировали все обвинения в аморальности как не относящиеся к делу, речь потеряла бы всякий смысл (с. 259).

⁵ Для того чтобы заслужить репутацию *vir bonus*, совсем необязательно было совершать какие-либо благие поступки – достаточно было просто не делать ничего плохого. *Vir bonus* является таковым постольку, поскольку аморальность не затрагивает его репутацию (с. 200).

⁶ О том, что Цицерон понимал под термином «популяр», см. Hellegouarc'h 1963, 535–541.

Таким образом, аморальность, с точки зрения Хаммара, была политическим вопросом. Homo effeminatus являлся противоположностью добропорядочного vir fortis⁷ и относился к категории infames наравне с актерами и прочей непотребной публикой; таких людей, что вполне понятно, не следовало допускать до управления государством, поскольку элита, которой было вверено это дело, как уже говорилось выше, являлась таковой именно по причине своего морального превосходства над прочими гражданами. Ссылаясь на Дигесты (3. 1. 1), автор пишет, что в римском праве даже существовал специальный закон – lex Iulia municipalis, согласно которому тот, qui corpore suo muliebria passus est, должен был быть отстранен от государственных должностей («should be excluded from political office» – с. 284). Однако в упомянутом титуле Дигест lex Iulia municipalis не упоминается, и вообще речь идет о другом: в приведенной цитате из комментария Ульпиана к преторскому эдикту говорится, что тех, кто поступал вышеназванным образом, эдикт «removet autem a postulando pro aliis», т.е. отстранял «от выступления в суде по делам других лиц» (D. 3. 1. 1. 6), что, пожалуй, не стоит рассматривать как исключение из политической жизни. Вероятно, Хаммар имел в виду Гераклеюскую таблицу – надпись с текстом муниципального закона, который долгое время отождествляли с lex Iulia municipalis (CIL I² 593. 108). Именно там сказано, что «во всех муниципиях, колониях, префектурах, форумах и собраниях римских граждан, какие существуют и будут существовать», тем, qui eue corpor<e> quaestum/ fecit fecerit, «запрещается принимать участие в сенате», а также «быть в числе декурионов или конскриптов». Впрочем, эти данные только подтверждают вывод Хаммара о тесной взаимосвязи политики и морали в глазах римского общества рассматриваемого периода.

В заключительной главе, носящей интригующее название «Эндшпиль – последние годы (44–43 гг. до н.э.)», речь идет преимущественно о цicerоновских «Филиппиках», т.е. о последнем образе врага, созданном великим оратором. На сей раз такой чести удостоился Марк Антоний.

Главной целью Цицерона было представить его не своим личным врагом, но врагом Рима. Для этого оратор не стал ограничиваться простым перечислением его пороков, но вызвал в воображении слушателей образы Катилины и Клодия, чтобы сравнить с ними Антония – старые враги стали своеобразным зеркалом для нового. Антоний, по словам Цицерона, намного превосходил Клодия своими пороками⁸ и был равен Катилине в отношении преступлений, однако ему недоставало прилежания последнего (Phil. IV. 15). С другой стороны, Антоний у него если и не был, то по крайней мере казался или хотел казаться еще более дерзким, чем Катилина, и более яростным, чем Клодий (Phil. II. 1) (с. 293–295).

Посредством столь нелестной характеристики оратор старался превратить аморальность Антония в политическую проблему, как он уже делал в случае с Катилиной (Cic. Phil. II. 50). Цицерон хотел убедить аудиторию в том, что его оппонента следует рассматривать как врага, а тех, кто с ним борется, соответственно, как спасителей государства, так что противопоставление в одной из его речей Октавиана и Антония – это по сути противопоставление морали и аморальности, точнее их воплощений (Phil. III. 15) (с. 312–313).

На с. 323–335 подводятся итоги всего исследования: в римском политическом красноречии аморальность являлась весомым аргументом, с которым было принято считаться, что и было продемонстрировано Цицероном на различных этапах его карьеры. Кроме того, существовала целая паутина аморальности (web of immorality), зацепившись за одну из ниточек которой, оратор мог связать все обвинения в единое целое – надо было лишь суметь установить связи между различными узлами этой паутины. Поэтому, чтобы обвинить человека в убийстве или краже, необязательно было даже доказывать, что он уже совершал подобное в прошлом, – достаточно было просто выявить у него некоторые признаки аморальности, а потом уже следовать привычной логике: тот, кто аморален, был таким и раньше, и дальше будет таким же, и ожидать от него можно только дурных поступков. Для римской аудитории такого рода доказательства представлялись весьма убедительными. Однако заметим, что в римских судах аргументация ad hominem играла все же вспомогательную, а не главную роль, как это пытается показать автор. При достаточно высоком уровне развития римского судопроизводства логичнее было бы предположить, что апелляция к моральному облику подсудимого использовалась скорее для подкрепления основных аргументов обвинения или защиты.

⁷ Слово «fortis» Цицерон употребляет примерно в том же значении, что и «boni» (см. ниже). Это качественный термин, подчеркивающий virtus и обозначающий тех, кто поддерживает его, Цицерона, политику. Ср. Hellegouarc'h 1963, 494.

⁸ Здесь (Hammar 295, n. 936) автор ссылается на Cic. Phil. II. 18, но там этой фразы нет; есть также ссылка на Phil. VIII. 16, где говорится: Ego P. Clodium arbitrabar perniciosum civem, sceleratum, libidinosum, impium, audacem, facinosum, tu contra sanctum, temperantem innocentem, modestum, retinendum civem et optandum. In hoc uno te plurimum vidisse, me multum errasse concedo. Это в какой-то мере можно считать подтверждением высказанной точки зрения.

В целом же, несмотря на отдельные недостатки⁹, работа И. Хаммара замечательна попыткой создания новой, оригинальной концепции и является весьма ценным вкладом в изучение творчества Цицерона.

Впрочем, Марк Туллий был достаточно изобретательным человеком в том, что касалось убеждения аудитории, и мог использовать для этого и другие приемы. Об одном из них рассказывается в статье М. Шауэра «*CUM TACENT, CLAMANT*. “Красноречивое молчание” как инструмент риторических стратегий Цицерона»¹⁰. Автор задается вопросом, чего, собственно, хотел добиться великий оратор, когда произносил свою первую Катилинарию. Бэтстоун, цитата из которого приводится в статье, полагал, что данная речь была не инвективой, а эпидейктической, и в ней Цицерон под видом инвективы демонстрировал свой собственный этос¹¹. Однако, по мнению Шауэра, первую Катилинарию трудно отнести к какому-то определенному роду красноречия, и даже сама избранная оратором стратегия манипулирования молчанием публики, не встречается ни в греческой, ни в римской теории ораторского искусства (с. 300–301).

Чтобы разобраться в этом, нужно проанализировать ситуацию, в которой оказался Цицерон, когда ему пришлось произносить эту речь. Как известно, первая Катилинария была произнесена на заседании сената, состоявшемся 8 ноября 63 г. до н.э. По мнению Шауэра, консул надеялся, что Катилина к тому времени уже уедет к Манлию, поскольку тогда всем стало бы ясно, на чьей он стороне и Цицерону было бы легко добиться применения к нему самых суровых мер. Однако Катилина пришел, и консул оказался в сложном положении: многие – те, кого он назвал *multi imperiti*, – вследствие своей осторожности и нерешительности являли собой фактор неопределенности, а кроме того, на заседании присутствовали влиятельные друзья Катилины, которые вряд ли захотели бы открыто от него отречься. Таким образом, шансы Цицерона на то, что отцы-сенаторы поддержат его предложение об изгнании Катилины или объявлении его врагом, были невелики, но оратору все же удалось обратить это почти неизбежное поражение в победу. Выжидательное настроение сената, которое Катилина надеялся использовать в своих целях, Цицерон обратил против него: он не стал заставлять сенаторов выбирать, чью сторону они примут, а вместо этого начал говорить за тех, кто по какой-либо причине не мог (или не хотел) высказать свое мнение (с. 306). Доказательств преступной деятельности Катилины у него не было, но он изобразил недоказанное возможным, и в результате они поменялись ролями: теперь не консул должен был доказывать, что Катилина планировал кого-то убить, а Катилина был вынужден убеждать всех в том, что он не мог этого сделать (с. 309). Бездействие отцов-сенаторов у Цицерона – это тщательно продуманное выжидание и выражение их терпения; бездействие же Катилины означает его неспособность действовать. Наконец, сам факт того, что ничего не происходит, для *boni* и самого оратора является следствием предусмотрительной заботы консула, а для Катилины – крушением его злонамеренных замыслов. В результате Цицерон сумел создать такую расстановку сил, при которой сам он держал все нити в руках, а Катилина оказывался изолированным; *patientia nostra* была терпением не только самого консула, но и солидарных с ним отцов, а их молчание означало также и то, что ни один голос не поднялся в защиту лидера заговорщиков (с. 314).

То, что молчание слушателей во время речи обыкновенно воспринималось как согласие (*qui tacet, consentire videtur*), было в порядке вещей, но приравнивание молчания к согласию на какое-либо предложение было уже совершенно иным подходом. В трактатах о риторике, основанных на греческой теории, не встречается ничего подобного, и это позволяет предположить, что стратегия вербализации молчания вытекает из самой римской политической практики (с. 316).

В монографии Г. ван дер Блом «Образцы для подражания у Цицерона. Политическая стратегия нового человека»¹² подробно рассматривается использование *exempla* в речах и трактатах Цицерона. Отправным пунктом логических построений автора служит предположение, что различие между *homo novus* и *nobilis* заключается прежде всего в наличии или отсутствии у кандидата на государственный пост знаменитых предков. Подобная формулировка делает оба понятия уязвимыми для риторических манипуляций (с. 40), чем и не преминул воспользоваться Цицерон. Поскольку своих знаменитых предков у него не было, он использовал в качестве личных *exempla* рассказы об известных и прославленных римлянах, причем в зависимости от аудитории и ситуации это могли быть как *homines novi*, так и представители нобилитета, поскольку оратор стремился показать, что сочетает

⁹ Помимо уже отмеченных, укажем, что автор не использовал в своей работе словарь Эллегуарка (Hellegouarc'h 1963), который, безусловно, оказался бы весьма полезным в такого рода исследовании.

¹⁰ Schauer 2011, 300–319.

¹¹ Batstone 1994, 211–266.

¹² van der Blom 2010.

в себе лучшие качества и тех, и других. Так, *exempla* Луция Лициния Красса, Антония, Сципиона, Лелия, Катона Старшего и Демосфена были ориентированы главным образом на узкую группу интеллектуалов из числа римской элиты. Они не предназначались ни для народа, ни для сенаторов, ни для всадников и были призваны создать Цицерону определенную репутацию в глазах именно этой группы людей. *Exempla* Метелла, Попилия, Олимпия и Савра встречаются преимущественно в его судебных и политических речах, соответственно, аудитория в данном случае состояла из сенаторов, всадников и народа. Что же касается писем и трактатов, то здесь все зависело от жанра: в произведениях риторического толка Цицерон использовал в качестве примеров для подражания великих ораторов, в политических трактатах – известных государственных деятелей etc (с. 271–286).

Себя он также рассматривал в качестве возможного *exemplum* для потомков. В его попытках выставить себя идеальным оратором, политиком и писателем ученые (например, Р. Сайм, Ж. Каркопинно, Кр. Майер) зачастую видят лишь тщеславие и глупую самовлюбленность, однако Г. ван дер Блом предлагает взглянуть на самовосхваления оратора под другим углом: Цицерон таким образом пытался обеспечить себе и своей семье на будущее положение, сходное с тем, которое занимали нобили. Он надеялся, что благодаря репутации, заслуженной великими деяниями, ему будет позволено войти в круг политической элиты и тем самым обрести почет и политическое влияние¹³. С одной стороны, ему хотелось стать примером для подражания в глазах будущих поколений, а с другой, он надеялся, что никто не сможет его превзойти, и в то же время он еще должен был показать, что подражает предкам, как того требовала традиция. Такого рода «многозадачность» поддерживалась самой римской культурой, поощрявшей стремление человека к славе, и случай Цицерона был уникальным лишь в том смысле, что его больше интересовала не военная, а гражданская слава, и он хотел, чтобы его в первую очередь запомнили как выдающегося оратора и философа (с. 287–324).

Нужно признать, что книга ван дер Блом обладает несомненной научной новизной и в целом производит благоприятное впечатление.

Тема *exempla* находит отражение и в статье Р. Лэнглэндс «Римские *exempla* и ситуативная этика: Валерий Максим и трактат Цицерона “Об обязанностях”»¹⁴. Статья состоит из четырех разделов. В первом (с. 103–105) объясняется, что такое ситуативная этика, на примере анекдота о Катоне Младшем, который приводит Валерий Максим в своих «Достопамятных деяниях и изречениях». Комментируя приведенный отрывок (б. 2. 5), автор статьи отмечает, что поступок Катона считался у римлян похвальным потому, что совершил его именно Катон. Если бы это сделал кто-то другой, такое поведение уже было бы расценено как дерзость, следовательно, читатели должны были понимать, что недостаточно просто следовать примерам великих людей. Нужно было также четко осознавать, кем являются они сами, каков контекст ситуации, в которой они оказались, и какое поведение будет в данном случае уместным.

Во втором разделе (с. 105–110) рассматриваются взгляды Цицерона на проблемы ситуативной этики, а также излагается его знаменитая «теория четырех ролей». По мнению оратора, прежде чем решать, как поступить в той или иной ситуации, следовало учитывать множество факторов, поскольку меняющиеся обстоятельства часто изменяют и моральное значение поступка (Cic. De off. I. 31). Кроме того, для оценки правильности собственных действий важно было понять и себя самого: по Цицерону, каждый человек наделен свойствами, которые можно условно разделить на четыре категории. Первая – это принадлежность к человеческому роду; вторая – то, что он называет «душевым складом», иначе говоря, индивидуальные черты характера (Cic. De off. I. 115); к третьей категории относятся различные социальные атрибуты, которые возложил на человека случай (*causa*) или обстоятельства (*tempus*); и, наконец, четвертая категория – это та роль, которую человек избирает для себя в жизни (*ibid.*). Когда приходится делать моральный выбор, необходимо принимать во внимание все четыре категории, но лучше всего это получится, если человек будет хорошо знать сильные и слабые стороны своей второй роли (Cic. De off. I. 117). Не имеет смысла бороться с собственной природой и выбирать тот образ жизни, для которого плохо приспособлен, так как все роли должны быть в гармонии между собой (De off. I. 122). Таким образом, то, что в одной ситуации для одного человека будет правильным, для другого может оказаться неверным.

Третий (с. 110–116) и четвертый (с. 116–122) разделы посвящены изучению ситуативной изменчивости под влиянием *fiducia* и *necessitas*. Цицерон предупреждает нас о том, что великим людям позволительно совершать поступки, идущие вразрез с общепринятыми нормами поведения, но для всех прочих это будет совершенно неприемлемо (De off. I. 148), так что к *exempla* следует подхо-

¹³ Как представляется, это утверждение не противоречит вышесказанному, поскольку стремление занять высокое положение и добиться всеобщего уважения вполне может считаться проявлением повышенного честолюбия.

¹⁴ Langlands 2011, 100–122.

доть с осторожностью. Об этом же пишет и Валерий Максим. Так, например, уверенность (*fiducia*) является одной из составляющих *virtus*; это – качество, позволяющее человеку превратить знание о своих сильных и слабых сторонах в способность придерживаться избранной линии поведения и собственных моральных принципов. Это и следствие *virtus*, и ее инструмент. Однако при этом *fiducia* находится в опасной близости от таких негативных качеств, как презрение (*contemptio*) и надменность (*insolentia*) (Val. Max. 3. 7. ext. 1), а посему бывает очень трудно отличить правильное от неправильного. Кроме того, существуют и экстремальные обстоятельства, которые нарушают естественный порядок вещей, а потому в таких ситуациях требуются другие виды этических правил. Поступки, совершенные в подобных обстоятельствах, выглядят постыдными, если рассматривать их сами по себе, но если анализировать их в контексте ситуации, то они покажутся всего лишь адекватным способом реагирования (Val. Max. 7. 6. 1).

Впрочем, есть и такие деяния, которые не может оправдать даже *necessitas* (определение термина см. Val. Max. 7. 6): хотя долг перед обществом и перед отечеством имеет немаловажное значение, его, с точки зрения Цицерона, нельзя ставить превыше обязательств, накладываемых на людей *moderatio* и *modestia* (Cic. De off. I. 159).

Подводя итоги, Лэнглендс приходит к выводу, что произведения и Цицерона, и Валерия Максима (которому наверняка было известно сочинение великого оратора), следует рассматривать не только как практические руководства по решению моральных проблем на примерах известных людей, но и как попытки научить читателей самим чувствовать ситуацию и подбирать к каждой из них свой вариант реагирования на основании знаний о собственных личностных качествах. Данный вывод представляется вполне обоснованным, а статья производит впечатление добротного исследования и интересна прежде всего тем, что привлекает внимание к столь малоизученному аспекту творчества античных авторов, как ситуативная этика.

Предметом изучения М. Кеннерли также стал трактат Цицерона «Об обязанностях», однако ее статья «*Sermo* и правила общения в стоической философии в трактате Цицерона “Об обязанностях”»¹⁵ посвящена анализу взглядов оратора на симбиоз стоической философии и риторики. В начале и середине первой книги Цицерон уделяет достаточно большое внимание вопросам дружбы и товарищеских отношений (Cic. De off. I. 58), которые, в свою очередь, занимают особое место в учении стоиков. В такого рода отношениях немаловажное значение имеет диалог (*sermo*), и Цицерон даже предлагает целый свод правил для тех, кто желает стать хорошим собеседником. Во второй книге он заходит еще дальше и говорит, что речь, построенная в форме беседы, может помочь оратору снискать славу, так как она обращена не только к сути дела, но и к сердцам людей (De off. II. 48). Таким образом, его задача заключалась в том, чтобы научить читателей применять основные положения стоической философии и ее стиль (т. е. диалог вместо ораторской речи) в контексте риторической ситуации (с. 123). Когда оратор использует *sermo* в общении с аудиторией, и у него получается отождествлять себя со слушателями, можно считать, что он успешно справился с воплощением в жизнь одного из догматов стоиков, а именно – *οἰκεῖωσις*. Согласно этой теории, каждое создание благодаря инстинкту или подражанию, знает, какие поступки являются для него уместными, а какие – чуждыми, а забота о других зависит от способности до некоторой степени идентифицировать себя с ними (с. 130). Римская адаптация этого изначально греческого учения и его широкое распространение может свидетельствовать о том, что в Риме большое значение придавалось социальной ответственности. Когда оратор *беседует* с аудиторией, а не *выступает* перед ней, он устанавливает с ней связь, показывая тем самым свое участие и заботу о самих слушателях или о том, что им близко и дорого, а ведь это и есть наилучший способ убеждения. Правда, здесь есть и свои сложности. Если человек пытается увлечь аудиторию, используя техники *οἰκεῖωσις*, он, конечно, сумеет завоевать расположение слушателей, но если он не будет демонстрировать те же самые принципы, о которых говорит, в своих поступках, его могут счесть лицемерным прагматиком. Ведь этос простирается за пределы текущей риторической ситуации и развивается вне времени; он постоянно создается между оратором и аудиторией¹⁶. Поэтому Цицерон специально отмечает, что важнее всего – это быть такими, какими мы хотим казаться (De off. II. 44).

Кроме того, оратору необходимо изучать не только латынь, но и греческий, с тем чтобы иметь возможность общаться с греческими философами и риториками дома или за рубежом. В результате, объединив риторику с философией, а греческий – с латынью, Цицерон, по мнению автора, преуспел в создании смешанного рода (*genus*) или, можно даже сказать, духа (*genius*) красноречия (с. 134). В целом такое заключение не вызывает возражений, хотя, возможно, и стоит отметить, что никакого нового *genus* Цицерон не создавал, а просто экспериментировал с уже имеющимися; в этом смысле

¹⁵ Kennerly 2010, 119–137.

¹⁶ Enos, Schnakenberg 1994, 205–206.

определение «genius» представляется более уместным, правда, в данном случае оно скорее является лишь составной частью игры слов. Тем не менее анализ попытки привнесения догматов стоической философии в риторику представляет немалый интерес, и, думается, автору удалось в достаточной мере раскрыть эту тему в рамках своей статьи.

М. Кметц посвятила свое исследование под названием «“За отсутствием обычного навоза”: Сельский гражданский этос в речах Цицерона»¹⁷ двойной идентичности оратора как человека, принадлежащего одновременно к миру города и миру деревни, а также попыталась выяснить, каким образом эта двойственность проявлялась в его творчестве.

С одной стороны, у Цицерона были проблемы, связанные с его происхождением, так как из-за этого над ним издевались Катилина и Клодий¹⁸, а для тесно связанных между собой кланов римской элиты он оставался чужим, поскольку был homo novus¹⁹. С другой стороны, будучи превосходным стратегом, Цицерон придумал, как можно обратить это обстоятельство себе на пользу.

В урбанистически ориентированной иерархической структуре сельская местность и ее жители не имели большого значения, но Цицерон пытался доказать, что важна и она сама, и проживающие там люди. Он горячо любил свою «малую родину» и пытался научить сограждан с уважением относиться к сельской местности вообще и к Арпину в частности. Приверженность родному краю заметна практически во всем его творчестве, но лучше всего это показано в начале второй книги диалога «О законах» (Cic. De leg. II. 3–6). Кроме того, в речах в защиту Росция Америйского и Авла Клуенция Габита Цицерон пытался привлечь внимание аудитории к положительным качествам сельских жителей. Они выступают у него носителями исконных римских ценностей и отличаются добродетельным поведением, напоминая тем самым о древних героях, которые создавали и защищали римскую культуру (Cic. Rosc. 55). В какой-то мере это можно считать попыткой создания коллективной формы dignitas, так как римлянам очень нравилось воображать себя «сельскими джентльменами», и они охотно придерживались соответствующих ценностей, а Цицерон, со своей стороны, сумел найти эффективное применение этим представлениям. В то же время он, должно быть, понимал, что слишком много деревенской простоты в речах или диспутах может негативно повлиять на аудиторию. Поэтому на форуме оратор вел себя в соответствии со своей второй идентичностью образованного городского человека. Это не мешало ему использовать различные деревенские метафоры, но, разумеется, лишь тогда, когда представлялся подходящий случай (пример – Cic. Brut. 4), однако к ораторам, которые намеренно хотели казаться деревенскими и всячески это подчеркивали, он относился отрицательно (с. 342–343).

В целом же Цицерон, по мнению автора, служил одновременно и Арпину и Риму, являясь носителем и деревенского, и урбанистического этоса. Поступая таким образом, он на личном примере демонстрировал проявление наилучших характеристик vir bonus.

Статья У. Спенсера «Конспирологическая риторика в Верринах Цицерона»²⁰ по сути представляет собой первую главу его диссертации, посвященной более широкой теме, а именно повествованию о заговоре в латинской литературе вообще. С точки зрения ученого, речи против Верреса являются одним из наиболее ранних дошедших до нас примеров использования в риторике терминологии, связанной с понятием заговора²¹. Что интересно, Цицерон умышленно намекал на существование заговора в контексте ситуации, совершенно не предполагавшей его наличие, поскольку Верреса, как известно, обвиняли de repetundis. И в античных, и в современных конспирологических текстах под заговорщиком обыкновенно понимается человек, желающий перевернуть мир вверх дном, и именно такой образ рисует Цицерон в своих Верринах (Cic. Verr. 13). Он неоднократно называет подсудимого тираном (Verr. 5. 21, 103, 117, 145), а тирания, т.е. форма правления, при которой государство оказывается подчиненным капризам одного человека, является противоположностью республике. Более того, Цицерон подчеркивает, что все действия Верреса совершались им вопреки законам (Verr. 2. 67) и обычаям, а также воле сената и народа. Таким образом оратор отделяет подсудимого от общества, а именно так обычно и поступают с заговорщиками в конспирологических нарративах.

Сторонников Верреса Цицерон называет теми же словами, которыми принято именовать участников заговоров (societas, manus); позднее он будет так же отзываться о соратниках Катилины (Cic. Cat.

¹⁷ Kmetz 2011, 333–349.

¹⁸ В этом месте (с. 336) автор ссылается на работы Дж. Конноли и Х. Готоффа, хотя уместнее была бы ссылка на источник.

¹⁹ Спорное утверждение: связи с нобилиями были еще у предков оратора (подробнее об этом см. Grimal 1991, 46), а лояльность Цицерона к оптиматам была известна со времен его первых процессов.

²⁰ Spencer 2010–2011, 121–139.

²¹ Имеется в виду римская литература.

I. 12, 23, 25; III. 3; IV. 20) и Клодия²² (Cic. Sest. 42; Pis. 15; Dom. 58). Заговорщики по отдельности (а не в качестве группы) могут обозначаться как *particeps*, *socius* или *consciis*, и первые два слова также были использованы Цицероном для характеристики друзей Верреса (Cic. Verr. III. 42; I. 40, 45; II. 45; IV. 139).

В самой первой речи оратор говорит, что оправдание Верреса может навлечь на судей подозрения в соучастии (Cic. Verr. I. 47), и если они позволят ему избежать правосудия, то должны будут разделить с ним вину за все его действия на Сицилии. Спенсер видит в этом часть конспирологической риторики, а именно намек на тайный сговор между преступником и тем, кто выскажется за его оправдание (с. 131). Однако данное положение, как представляется, нуждается в дополнительном обосновании, поскольку такой вывод неочевиден. При уровне коррупции, царившей в то время в римских судах, было бы нелепо рассматривать каждый случай взяточничества как проявление заговора.

Далее Цицерон наделяет сицилийцев древними римскими качествами и таким образом дает судьям понять, что в лице этих людей Веррес оскорбил Рим. Кроме того, наместник посмел казнить римского гражданина, из чего следует, что преступления, совершенные им на Сицилии, являются внутренней угрозой самому Риму, а это уже типичные черты конспирологической терминологии (с. 134). Вообще тема «открытого заговора» проходит через все Веррины – это явная параллель с заговором Катилины, о котором все тоже как будто знали, но ничего не могли сделать из-за отсутствия доказательств. Сам Цицерон и в том и в другом случае выступает в качестве следователя, который достигает своих целей как при помощи собственных расходов, так и благодаря умело созданной сети информаторов (с. 137).

Все вышеперечисленное, по мнению автора, характерно для конспирологического нарратива, однако поскольку в статье анализировалось дело, не имеющее отношения к заговору, стоило бы рассмотреть не только конспирологическую, но и криминалистическую терминологию, а также провести сравнительный анализ их лексики, так как некоторые доказательства все же представляются не вполне убедительными.

Подведем итоги. Как видно, в рассмотренных произведениях были представлены различные способы убеждения, которые были описаны или использованы великим оратором: подчеркивание роли аморальности, вербализация молчания, действие по ситуации, диалог с аудиторией, использование двойной идентичности и, наконец, конспирологическая риторика. Все эти методы так или иначе затрагивают сферу психологии и морали, из чего можно сделать вывод, что Цицерон не только достиг выдающихся высот в искусстве красноречия, но был также и превосходным знатоком человеческих душ. Ценность рассмотренных работ проявляется прежде всего в новизне подходов их авторов, которые решились взглянуть на деятельность и творчество великого оратора под необычным ракурсом. Учитывая же многообразие аспектов, по которым можно изучать его творчество, следует признать, что тексты Цицерона по-прежнему остаются прекрасным материалом для исследований.

Литература / References

- Batstone, W. 1994: Cicero's construction of consular ethos in the First Catilinarian. *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 124, 211–266.
- Blom, H. van der 2010: *Cicero's Role Models. The Political Strategy of a Newcomer*. Oxford.
- Dyck, A.R. 2014: (Rev.) Isak Hammar, *Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory*. Lund: Lund University, 2013. *Bryn Mawr Classical Review* 2014.04.09.
- Enos, R., Schnakenberg, K.R. 1994: Cicero Latinizes Hellenic Ethos. In: J.S. Baumlin, T.F. Baumlin (eds), *Ethos: New Essays in Rhetorical and Critical Theory*. Dallas, 191–209.
- Grimal, P. 1991: *Tsitseron [Cicero]*. (Transl. from French by G.S. Knabe and R.B. Sashina). Moscow.
- Грималь, П. *Цицерон*. (Пер. с франц. Г.С. Кнабе и Р.Б. Сашиной). М.
- Hammar, I. 2013: *Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory*. Lund.
- Hellegouarc'h, J. 1963: *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*. Paris.

²² Заметим, что Цицерон все же не считал Клодия заговорщиком. С Катилиной его роднили скорее криминальные наклонности и общение с сомнительными личностями, поэтому данная параллель представляется не совсем уместной: возможно, такой выбор слов был обусловлен тем, что Цицерон просто хотел указать на преступность Верреса и его подручных, а вовсе не старался представить их заговорщиками.

- Kennerly, M. 2010: *Sermo and Stoic Sociality in Cicero's De Officiis*. *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* 28. 2, 119–137.
- Kmetz, M. 2011: “For Want of the Usual manure”: Rural Civic Ethos in Ciceronian Rhetoric. *Rhetoric review* 30. 4, 333–349.
- Langlands, R. 2011: Roman *Exempla* and Situation Ethics: Valerius Maximus and Cicero *de Officiis*. *Journal of Roman Studies* 101, 100–122.
- May, J. 1988: *Trials of Character: The Eloquence of Ciceronian Ethos*. Chapel Hill–London.
- Schauer, M. 2011: CUM TACENT, CLAMANT. “Beredtes Schweigen” als Instrument rhetorischer Strategien bei Cicero. *Rheinisches Museum für Philologie* 154, 300–319.
- Spencer, W.E. 2010–2011: Conspiracy Rhetoric in Cicero's *Verrines*. *Illinois Classical Studies* 35–36, 121–141

Daria D. Dymkaya,

Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg, Russia

Д.Д. Дымская,

Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербург, Россия

d.dymkaya@spbu.ru